

ЛЕМАН В. П.

НОВОЕ В ИНДОЕВРОПЕИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

5. Нелексические языковые свидетельства.

Как было отмечено выше, Мэллори довольно обстоятельно рассмотрел те лексические данные, которые используются для идентификации прародины индоевропейцев [4, с. 158—164]. Поскольку эти данные практически соответствуют тем, что цитируются в любом элементарном курсе индоевропеистики, мы не удивляемся его утверждению, что «ученые уже извлекли из языковых данных все, что было возможно» [4, с. 164]. Даже в том случае, если тщательный анализ, основанный на максимальном использовании доступной информации, даст какие-либо дополнительные сведения (см. в этом отношении работу Дайболда [37]), это не изменит общей ситуации, ибо известный науке лексикон уже неоднократно изучался поколениями индоевропейцев. Так что слишком мала вероятность открытия неизвестных фактов, связанных с обозначением какого-либо животного, растения или иного объекта, дающего возможность получить более определенную информацию о местонахождении прародины индоевропейцев, чем та, что была добыта предшествующими исследователями. Приходя к такому же выводу, Мэллори утверждает, что «сейчас слово за археологами» [4, с. 164]. Однако помимо лексики информацию можно извлечь и из иных уровней языка.

5.1. Данные, получаемые из анализа внутренней структуры языка. Почти полстолетия назад Шпехт опубликовал обширное исследование, состоящее из двух частей, первую из которых он озаглавил «Индоевропейское склонение — зеркало индоевропейской культуры» [32, с. 1—113]. Социальные условия, сложившиеся ко времени ее публикации, не только привели к утрате первого издания, но и снизили внимание ко второму изданию 1947 г. Хотя эту работу иногда цитируют в библиографиях, выводы Шпехта почти никем не учитываются. Перед тем как их рассмотреть, отметим, что они основываются как на тщательном изучении автором диалектов и предполагаемого праязыка, так и на результатах работ других исследователей, в частности, обстоятельных трудов Перссона (особенно [45]). Помимо того, Шпехт был основательно знаком с публикациями, доступными ему ко времени завершения его работы, включая монографию Бенвениста [46], на которую он время от времени ссылается.

Предметом исследования Шпехта являлась не лексика, а языковая структура. Вряд ли стоит напоминать, что внутриязыковое структурирование более фундаментально и менее подвержено изменениям, чем слова языка.

Шпехт рассмотрел две характерные особенности индоевропейской флексии: варьирование в строении основы и широкий набор окончаний

* Окончание. Начало см. ВЯ, 1991, № 4.

отдельных падежей (например, форм генитива в латинском типа *vir-i, nomin-is, famili-ās, faci-ēs* и т. д.). Анализируя первую из указанных особенностей, он отмечает, что общепотребительные слова, или, как он их называет, древние концепты, представляли собой в праязыке консонантные основы, а слова с *o*- или *a*-основами, очевидно, возникли позднее. Изучение подобных различий позволило Шпехту осуществить внутреннюю хронологизацию, посредством которой он идентифицирует слова, служащие для обозначения относительно более поздних понятий. С этой точки зрения особый интерес представляет терминология, относящаяся к деталям конструкции повозки [35, 1-е изд., с. 99—103]. Термины, принадлежащие к этой сфере лексики, являются более поздними в сравнении со словами, использующимися для обозначения объектов природы [35, 1-е изд., с. 9—28], животного мира [35, 1-е изд., с. 28—53], растительного мира [35, 1-е изд., с. 53—73], частей тела [35, 1-е изд., с. 73—87], а также для обозначения семьи и жилища [35, 1-е изд., с. 87—98]. Легко согласиться с выводом Шпехта о том, что техника конструирования повозки стала известной в обществе несколько позже времени ее изобретения. Шпехт датирует появление повозок приблизительно 3000 г. до н. э. Таким образом, он использует внутреннюю структуру языка для установления элементов сравнительной хронологии как в области языка, так и достижений в культуре индоевропейского сообщества.

Я привожу этот пример лишь для того, чтобы продемонстрировать применяемые при реконструкции методы, однако не буду останавливаться более подробно на важности выводов Шпехта. Несмотря на то, что некоторые из положений этого ученого (например, соотнесение именных основ с указательными местоимениями) не получили признания у специалистов, в данном случае существенно то, что Шпехт следовал давнему взгляду лингвистов, согласно которому любой язык содержит в себе напластования различных хронологических слоев. Последние не отличаются таким же регулярным распределением, как биологические «пласты», к примеру, отложения на дне моря или же годовые кольца на деревьях. И тем не менее возросшее знание структуры языка, как и углубление знаний в любой другой области, дает возможность использовать факты, которые ускользали от взгляда наших предшественников. Такие свидетельства могут быть менее очевидными, чем те, которые можно извлечь из анализа текстов. Однако по мере совершенствования лингвистической техники исследования эти факты в сочетании с другими дотоле не использованными данными позволяют расширить понимание тех проблем, решение которых раньше находилось в области догадок и предположений. В качестве другого примера можно отметить более ясное сейчас представление об аккузативных / эргативных и активных языках, что весьма существенно для объяснения архаичных явлений в древних диалектах и на ранних этапах прайндоевропейского, а также и для установления связей древних феноменов языка.

5.2. Использование характерных языковых структур для лучшего понимания языковых явлений. Чтобы проиллюстрировать возможности интерпретации языковых данных, которые не получили объяснения или объяснены неудовлетворительно с точки зрения современной науки, можно указать на те наблюдения Шпехта, которые, на наш взгляд, недостаточно убедительны.

Простым примером может служить признание Шпехтом наличия двух праиндоевропейских слов для обозначения огня и воды. Отметив это известное обстоятельство, он добавил, что одно слово из каждой пары сред-

него рода (ср. хет. *rahhur* «огонь» и *watar* «вода»), тогда как другое — мужского (например, скр. *agniḥ* «огонь») либо женского рода (скр. *āp-
«вода»* [36, 1-е изд., с. 18—19]). Объяснение Шпехта сводится к тому, что он приписывает «индоевропейскому языку» двойственную классификацию, в соответствии с которой подобные элементы могут рассматриваться либо как полезные, либо как вредные. Впоследствии, когда была образована категория рода, каждый из элементов был осознан либо как «вещь», либо как «одушевленный член божественной пары». От таких «естественных» объяснений, основанных на произвольных истолкованиях мышления первобытного человека, по мере лучшего знакомства с предметом исследования (в нашем случае — языка) стали постепенно избавляться.

Гамкрелидзе и Иванов предложили убедительное и одновременно изящное объяснение таких двойственных обозначений, трактуя их в качестве реликтов того периода, когда прединдоевропейский являлся языком активного строя. В подобном языке предметы типа «огонь» или «вода» могут быть осознаны (как предполагал и Шпехт) либо как пассивная «вещь», либо как активная «субстанция», и в соответствии с этим получать два лексических обозначения в отличие от одного обозначения для понятий типа «камень» или «животное». Когда язык стал аккузативным, необходимость в двойственном обозначении отпала, в результате чего каждый диалект сохранил только один из членов пары. Лингвистическое объяснение, таким образом, заменило объяснение, основанное на представлениях о мышлении «дикаря».

Относительно более сложных ситуаций можно вспомнить наблюдение Шпехта, согласно которому индоевропейская система цветообозначений основывалась не на цветовых различиях, а скорее на «блеске и сиянии» (*Glanz und Schimmer*) [35, 1-е изд., с. 113—124]. Подобный вывод был продиктован тем, что исходя из данных диалектов реконструировать соответствующую систему обозначений, основанную на цветовой палитре, невозможно. Основное внимание Шпехт уделил именно констатации данного обстоятельства, однако он приводит и свое объяснение, согласно которому древний человек, или, более конкретно, древние индоевропейцы, были частично дальтониками. Однако и в данном случае указанному явлению может быть дано чисто лингвистическое объяснение.

В статье, посвященной системе цветообозначений в древнеирландском, Р. Леман отметила, что эта система строилась скорее на степени интенсивности и яркости, чем на различиях цветовой палитры [47]. Древнеирландские цветообозначения в значительной степени отличаются от тех, к которым привыкли мы. Например, из трех терминов, переводимых как «белый», слово *finn* может быть использовано в отношении лебедя, серебра, пены, волн, моря, а также героя Кухулина, который в других контекстах может быть назван *dub* «черный», — и так далее в отношении других терминов цветообозначений. Это вовсе не означает, что носители древнеирландского языка не различали цветов, на что указывает и Р. Леман. Просто языковая система может покоиться на иных основаниях, так что объект именуется «белым» или «черным» скорее в зависимости от его интенсивности или яркости, чем цвета.

В работе «Основные термины цветообозначений» Берлин и Кэй признают возможность трех «психофизических измерений: цвета, интенсивности и яркости» [48, с. 160], уделяя при этом основное внимание цвету. С их классификацией вполне можно согласиться. Однако не менее существенно и исследование иных возможностей цветообозначений. Кстати, язык может быть и вовсе их лишен. Так, например, в одном из языков

Коста-Рики (по авторитетному свидетельству Адольфо Костенла) цвет обозначается путем сравнения между объектами. Попугай, к примеру, может быть описан как сравнимый по цвету с листом.

Короче говоря, ирландская система вполне может рассматриваться в качестве индоевропейского наследия. Ведь трудно предположить, что какая-то часть носителей языка была дальтониками. Знание основы классификации того или иного континуума элементов, в нашем случае системы цветообозначений, дает возможность осмыслить языковые данные.

В заключение можно сказать, что современная лингвистика не должна ограничиваться обсуждением лишь тех явлений, которые были предметом изучения в XIX в., точно так же, как несравнимы масштабы археологической науки современности и прошлого. Одной из основных целей данной статьи как раз и является намерение продемонстрировать наиболее перспективные процедуры лингвистического анализа. Специалисты в разных областях лингвистики и в разных областях индоевропеистики должны осуществить переоценку находящихся в их распоряжении данных. Такая переоценка наиболее успешно была осуществлена в фонологии, о чем будет сказано ниже. Но вполне вероятно, что даже в столь хорошо изученной области, как фонология, остаются явления, которые до сих пор ускользали от внимания индоевропейцев.

6. Языковая структура.

Если мы собираемся рассматривать праиндоевропейский язык с точки зрения говорившего на нем сообщества, то следует подходить к нему под углом зрения семиотики. Иначе говоря, не следует ограничиваться изучением одной лишь грамматики, делая традиционный акцент на фонологии и морфологии, но, напротив, учитывать всю трехстороннюю сферу семиотики, как это было сформулировано Пирсом. Помимо грамматики, необходимо исследовать семантику — отношение языка к внешнему миру, и прагматику — отношение говорящего к языку. Хотя подобная формулировка и может представлять некоторую новизну для индоевропеистики, однако новыми назвать исследования этих проблем нельзя. Семантика уже давно плодотворно изучается, о чем свидетельствуют такие работы, как словари Бака [44] и Покорного [49], а также труды их предшественников (ср. труды Хоопса, Шрадера и другие, указанные выше). Исследование прагматики, в свою очередь, являлось предметом таких дисциплин, как стилистика, поэтика, а также такой специфической сферы, как язык богов, противопоставленный языку людей. Как отмечалось выше, мы не будем здесь излагать все современные точки зрения по данному вопросу и приводить соответствующую библиографию. Наша основная цель — описание тех концепций, которые релевантны для понимания языка в его отношении к тому обществу, в котором он функционирует.

6.1. Грамматика праиндоевропейского языка. Период времени, прошедший со второй декады нынешнего столетия, внес мало нового в изучение праиндоевропейского языка. Грамматика Мейе 1937 г. мало отличалась от ее более ранних изданий, а сами издания отличались от руководств Бругмана, Дельбрюка или Хирта или же от совсем недавней книги Семереньи [50, с дальнейшими переработками] лишь расстановкой акцентов. Однако впоследствии были существенно пересмотрены трактовки всех разделов грамматики: фонологии, морфологии и синтаксиса. В фонологии, особенно в свете ларингальной и глоттальной теорий, были пересмотрены система шумных, ларингальных, сонантов, гласных, акцентуационные системы. В морфологии существенно новым стало при-

знание активного строя индоевропейского праязыка на раннем этапе его истории. В области синтаксиса более последовательное воплощение нашла идея о финальной позиции глагола в праиндоевропейском. В результате грамматика, составленная в соответствии с новыми взглядами, существенно отличалась бы от прежних, традиционных грамматик.

Все новые идеи имеют свои прототипы в прошлом. Еще в конце XIX в. Вальде изложил точку зрения на систему шумных, которая разительным образом отличалась от той, что была представлена в руководствах. Предположение о наличии ларингальных было высказано, вслед за публикацией Соссюра в 1879 г., целым рядом ученых. Зиверс предложил собственную трактовку сонантов, развитую затем Эджертоном. А открытие Соссюром ларингальных, или, в его терминологии, «коэффициентов», оказало влияние на представления о системе гласных. В области морфологии Мейе указал на двойственное обозначение огня и воды, предлагая этому объяснение, соответствующее представлениям о языках активной структуры. В области синтаксиса еще в первой четверти столетия Вайль описал латинскую структуру предложения с глаголом в финальной позиции. Современные исследования более определенно подтвердили эти наблюдения, рассматривая имеющиеся факты в контексте всей системы.

Анализ различных рядов или групп (sets) элементов языка является одним из двух основных достижений современной лингвистики. При чтении добротных руководств, выдержанных в духе младограмматической традиции, к примеру, серии публикаций под редакцией Штрайтберга, мы видим, что каждый языковой элемент рассматривается в них в отдельности. Так, гласные рассматриваются в виде группы (обычно в порядке *a e i o u*), но затем анализируются отдельно, исходя из их рефлексов в языках-потомках. В наше время Трубецкой рассмотрел отдельные рефлексы предложенного им фонологического ряда. Такая же процедура применима и к другим сегментам фонологической системы, что нашло свое выражение в выделении таких указанных выше подклассов праиндоевропейской фонологической системы, как гласные, сонанты, ларингальные и шумные. Аналогичным образом можно рассматривать и другие сегменты языковой структуры. Подобный же подход является вполне традиционным и в области морфологии, весьма желательно придерживаться его при исследовании синтаксиса и семантических групп. Как отмечено выше, Шпехт выполнял свое исследование именно таким образом, сначала рассматривая сферу природы, затем перейдя к другим областям — животному миру, растительному царству, частям тела, хозяйственным реалиям и, наконец, к технологии. Сходен порядок исследования и в работе Гамкрелидзе и Иванова, где рассматриваются мыслительная деятельность, религия, литература. Что касается прагматики, можно указать на осуществленный в прошлом веке Лайстом анализ юридического языка древней Индии и греко-латинской культуры с выходом в праиндоевропейский период. Весьма интересным, благодаря углубленному вниманию к семантике и прагматике, было недавнее заседание Индоевропейского общества, посвященное изучению лексики (см. доклады в [12]). В этом направлении необходимы дальнейшие усилия, однако общим удовлетворительным результатом является признание продуктивности системного подхода к изучению языка. Исходя из такого понимания, всякое исследование языка должно выполняться в соответствии с последовательным изучением отдельных сегментов (sets) языковой структуры.

Второе требование заключается в изучении языка в соответствии со знанием «общих законов» (в терминологии А. Мейе) [22]) или, по выра-

жению Веннемана, «общих теорий языков» [51, с. XII]. И здесь налицо контраст с младограмматической процедурой исследования. Как было отмечено выше, следуя подобной процедуре, лингвист привлекал в качестве параллелей к наблюдаемым им явлениям данные тех языков, которыми он владел. В рамках современной процедуры исследования мы выделяем определенные «общие законы» и затем проверяем свои выводы в соответствии с ними. В качестве иллюстрации приведем концепции удлинения *w* и *y* в германском. В 1879 г. Клюге предположил, что это явление имело место в том случае, когда указанным согласным предшествовало ударение; однако такое мнение не нашло поддержки, и Бехтель предположил, что удлинение соответствующих согласных было обусловлено следующим за ними ударением [50, с. 37—38]. У нас, конечно, нет никаких определенных формулировок «общих законов языков», даже в области фонологии, исследованной наиболее тщательно. Но, как демонстрируют опубликованные Веннеманом работы [51], ученые в ходе исследовательской практики используют открытия, носящие общий характер, и, с другой стороны, избегают случайных параллелей. Дальнейшая работа в данном направлении позволит, по-видимому, усовершенствовать такой подход.

Результаты исследования, выполненного в рамках указанной методики, позволяют проецировать отношения языков и их носителей на область современного им внешнего мира, а это именно та задача, которую мы, вслед за Курциусом, пытаемся решить.

6.1.1. Фонология. Наиболее значительные изменения в области индоевропейского языкознания обязаны ларингальной и глоттальной теориям. Ларингальная теория предполагает наличие в фонологической системе дополнительных фонем, которые трактуются различным образом — то как велярные, то как фарингальные, либо как ларингальные согласные, не оставившие явных рефлексов ни в одном из языков-потомков. Согласно глоттальной теории, каждый ряд шумных включал глоттальный глухой смычный, а не звонкий смычный, как это ранее считалось, из чего проистекает реинтерпретация и двух других членов данного ряда. Две эти теории были обстоятельно изложены в недавних публикациях под редакцией Баммесбергера [52] и Веннемана [51], ср. [53]).

С двумя указанными теориями связан любопытный парадокс. Как справедливо утверждает Веннеман, ларингальная теория «изменила почти всю праиндоевропейскую грамматику..., тогда как глоттальная теория ... не сделала больше, ... чем разрешила те проблемы, которые она была призвана разрешить» [51, с. XI]. Тем не менее глоттальная теория, в отличие от ларингальной, несет в себе больше импликаций относительно сообщества носителей праязыка, чем ларингальная теория. Основываясь на ларингальной теории, можно предположить наличие исторических связей индоевропейского с такими языками, как афразийские; каждая из основных подгрупп индоевропейской семьи обладает своими специфическими рефлексам, и, соответственно, мы не можем использовать эти рефлекс для того, чтобы выявить более тесные взаимоотношения с другими диалектами, не говоря уже о том, чтобы модифицировать ранее высказанные суждения относительно каждого диалекта. Но глоттальная теория предполагает такие модификации внутри самого индоевропейского сообщества, а также относительно сообществ носителей других языков.

Наиболее очевидной является необходимость переосмысления ситуации в двух подгруппах — германской и армянской — в которых, как предполагалось ранее, шумные претерпели наиболее серьезные изменения. Ныне же системы шумных в этих подгруппах рассматриваются не как

зоны инновации, а, напротив, консервации. Кроме того, армянский, локализуемый рядом с кавказскими языками, для которых «глоттализация является фундаментальной чертой», мог либо сохранить глоттальные благодаря такому соседству, либо усвоить их в результате диффузии [54]. Основываясь частично на предполагаемом консерватизме армянского, Гамкрелидзе и Иванов локализуют прародину индоевропейцев к югу от Кавказа [1]. Консерватизм же германского, напротив, свидетельствует о его раннем отделении от центральной группы. И все же это мнение, как и другие положения глоттальной теории, еще не получили всеобщего признания.

В качестве одного из аргументов в пользу глоттальной теории выдвигается тезис, согласно которому реконструированная в рамках этой теории праиндоевропейская фонологическая система является менее маркированной, чем система, предложенная ранее. Этот аргумент вызвал замечание Крауса: почему менее маркированная система должна была измениться в сторону большей маркированности [54]? Короче говоря, глоттальная теория не завоевала признания ее всеми специалистами. Среди авторов индоевропейских грамматик Майрхофер, например, занимает нейтральную позицию по отношению к ней, тогда как ларингальную теорию он полностью принимает [55]; Семереньи же ее отвергает, хотя и допускает существование одного ларингального [56].

Если глоттальная теория не может быть подтверждена на основе данных индоевропейских диалектов, не находит ли она поддержку среди последователей ностратической теории? Но и здесь нет единодушия. Можно было бы ожидать, что значительная временная глубина ностратического праязыка не будет способствовать подтверждению этой теории до тех пор, пока не обнаружатся подтверждающие свидетельства со стороны других предполагаемых подгрупп ностратического праязыка. К сожалению, этого нет.

Мнения относительно индоевропейской фонологии претерпевают, таким образом, постоянные модификации. Разногласия наблюдаются даже по поводу вокалической системы, что показано в рецензии на книгу Гамкрелидзе и Иванова, написанной М. Палмайтисом [57]. Новые подходы в оценке трех отмеченных выше подклассов фонологической системы — шумных, гласных, ларингальных — возникают из переоценки традиционных положений, с учетом общих законов, выявленных в последнее время в результате изучения фонологических систем многих языков.

Меняются мнения также относительно четвертого класса фонем — сонантов, что обусловлено отходом некоторых лингвистов от традиционного их понимания. Любопытная формулировка была предложена Эджертоном, который использовал при этом фонемную теорию в структуралистской ее трактовке. Согласно этой теории, каждый из сонантов обладал тремя аллофонами, например, /y/: [i, y, iy]. Эта теория предполагает наличие отчетливого фонологического компонента. Фонологигенеративисты, напротив, отвергают подобный взгляд, допуская наличие лишь интерпретативного фонетического компонента последовательностей, порожденных в синтаксическом компоненте. Поскольку звуковое изменение, которое вызвало появление трех вариантов, имело место в праиндоевропейском, можно наблюдать лишь алломорфную вариацию в диалектах, ср., например, в готском различие между *ganasjis* «ты спасаешь» и *waurkeis* «ты делаешь». Согласно подходу генеративистов, нет никакой нужды формулировать правило фонемного изменения типа так называемого закона Зиверса — Эджертона. В результате таких разногласий

довольно нелегко адекватно оценить новые концепции, подобные той, например, которую предложил Зеебольд, исследовавший данные ранних диалектов [58].

Таким образом, можно сказать, что облик фонологической системы, представленной в специальных руководствах, зависит от лингвистической теории, принимаемой его автором. До некоторой степени это утверждение справедливо и в отношении дескриптивных грамматик любого языка. В историческом же языкознании, долгое время характеризовавшемся стабильностью взглядов, изменяющаяся ситуация вызвала значительные неудобства для специалистов.

Прояснению некоторых из проблем способствовало выявление с помощью метода внутренней реконструкции последовательных этапов в истории праиндоевропейского языка. Поскольку я рассматривал соответствующие данные в других работах, я лишь кратко коснусь здесь этих вопросов. После длительного периода почти полного игнорирования данной процедуры, я в 1952 г. высказал мнение о необходимости установления шести таких этапов, а Майд в 1975 г. на основе внутренней реконструкции времени и залога в системе глагола предположил наличие трех этапов [59]. В моей недавней статье в *Festschrift*'e, посвященном Майду [60], упоминаются эти два мнения: отмечаются также и такие более поздние разработки, как допущение большего числа этапов, постулируемое Ноем на основе исследования хеттского материала [61]. В результате исследований 1952 г. были установлены этапы развития прайндооевропейского языка, при учете которых можно было вполне удовлетворительно прояснить ситуацию с аблаутом; результаты этих исследований хорошо согласуются с предполагаемым развитием глагольной системы.

И все же еще многое предстоит выяснить. Дискуссионной остается проблема сохранения ларингальных и глоттальных согласных в диалектах и даже в позднем праиндоевропейском. Можно сопоставить, к примеру, мнение Ф. Кортланда [62, с. 299—311] относительно элительного сохранения ларингальных в балтийском и славянском со взглядами Поломе, который предполагал их раннюю утрату в прегерманском [63], что, в свою очередь, прямо противоречит мнению Р. С. Бэкса о сохранении ларингальных [64].

Ввиду недостаточности данных, особенно когда речь идет о ранней истории праязыка, помимо системного изучения фонологических элементов следует осуществить тщательную реконструкцию каждого ее последующего этапа.

6.1.2. Морфология. Гипотеза, согласно которой праиндоевропейский язык на раннем этапе своей истории являлся активным языком, чрезвычайно способствует достижению такой реконструкции. Ввиду того, что большинство свидетельств в пользу данной гипотезы, особенно после публикации работы Гамкрелидзе и Ивалова, уже приведены в литературе, я здесь просто перечислю характерные элементы подобной структуры, поскольку они являются существенными для понимания морфологической системы. Предположение о том, что на активной стадии глагол имел флексию, маркировавшую или актив или статив, разрешает давнюю проблему относительно сходства перфекта и среднего залога в ранних диалектах, поскольку оба они восходят к флексии статива. Более того, это проливает свет и на древнюю флексию существительного, в частности, на позднее развитие форм множественного числа и генитива. Активные языки не имеют генитива; поскольку праиндоевропейский преобразовался в язык аккузативного строя, в нем генитив должен был появиться, и он

был сформирован в нескольких подгруппах, о чем свидетельствует вариативность генитивных форм. Прояснились и другие детали, такие, например, как отсутствие в раннем праязыке глагола в значении «иметь»: активные языки такого глагола лишены.

В отличие от фонологии, где еще многое предстоит выяснить, в морфологии ситуация несколько проще, поскольку наличие только трех различных языковых типов позволяет более уверенно проверять результаты внутренней реконструкции. Как я отметил в [60], гипотеза, согласно которой ранний этап праиндоевропейского характеризовался активной структурой, хорошо согласуется с мнением Майда, Ноя и других. Главным вопросом, стоящим сейчас на повестке дня, является выявление отдельных этапов в развитии морфологической и фонологической систем.

6.1.3. Синтаксис. Становится общепризнанным мнение (последнее основано на анализе данных синтаксиса и лексикона), согласно которому праязык характеризовался финальной позицией глагола; см., например, вывод Гринберга в его работе, посвященной вероятности ностратической гипотезы [65]. Поскольку я уже подробно касался этого вопроса [66] и мою характеристику приняли Гамкрелидзе и Иванов, больше здесь на этом я останавливаться не буду.

Открытия в морфологии и синтаксисе, в частности, установление ряда сдвигов в системе, на отдельных этапах истории праязыка, позволяют выявить материал, существенный для предположения о связях между индоевропейской и другими языковыми семьями. О некоторых подобных возможностях будет сказано ниже.

6.1.4. Возможное родство с другими языковыми семьями, подсказанное грамматическими характеристиками. Предположение о наличии в индоевропейском праязыке ларингальных, а также сходная система сонантов дают основание установить наличие связей праиндоевропейского с картвельскими языками. Хотя факт этот объясняют разными причинами — результатом древнего соседства (Гамкрелидзе) или генетического родства (Дьяконов), сходство между двумя системами свидетельствует все же о близости локализации носителей этих праязыков. Этот вывод согласуется как с гипотезой Гамкрелидзе и Иванова относительно локализации праиндоевропейского, так и с мнением Гимбутас, но, с другой стороны, создает определенные трудности для позиции Дьяконова и особенно Ренфрю. Принятие же мнения относительно глоттальных благоприятствует гипотезе Гамкрелидзе и Иванова, но осложняет позицию Гимбутас. Последние достижения в области фонологии ограничивают, таким образом, число возможных гипотез, касающихся проблемы прародины.

Дальнейшие перспективы открывают и достижения в области морфологии и синтаксиса. Исходя из совокупности данных, представляющих «все языковые семьи» Северной Евразии и Северной Америки, Дж. Николс установила, что «категория грамматического рода ... представлена в этих языках весьма редко, за исключением некоторых ареалов и макроареальных „очагов“, одним из которых является Ближний Восток». Это дает ей основание сделать вывод о том, что индоевропейская «прародина должна была находиться в районе древнего Ближнего Востока или где-то вблизи» [67].

Изучение ранних этапов истории прединдоевропейского позволяет, однако, сделать вывод о позднем формировании категории грамматического рода. Работа Шмидта 1889 г. [68] содержала весьма важные тому свидетельства, хотя их адекватная интерпретация могла быть сделана лишь позже. Используя открытия Шмидта и других ученых, Мейе в своем ру-

ководстве постулирует наличие двух классов — одушевленного и неодушевленного; одушевленный класс затем расщепился на мужской и женский родовые классы, а неодушевленный класс развился в средний родовой класс. Эти два класса согласуются с моделью активной структуры, но не репрезентируют систему «грамматического рода». Впоследствии категория рода в индоевропейских диалектах была образована на основе двойственной системы противопоставлений, которая, как мы сейчас признаем, присуща языкам активного строя.

Категория грамматического рода затем наложилась на более раннюю именную систему. Это произошло относительно поздно, поскольку хеттский еще удерживал систему двух классов, хотя и не в строгом соответствии с активной структурой. Если, исходя из этого, считать, что категория грамматического рода была в индоевропейском образована под влиянием извне, то в Анатолии подобное влияние не было, надо полагать, столь существенным или достаточно ранним.

Позднее возникновение указанной системы согласуется с другим утверждением Николе, согласно которому маркировка зависимого члена «практически устранила стативно-активную структуру праязыка» [67]. В соответствии с представленными здесь данными следует признать, что маркировка зависимого члена является поздним явлением; она возникла на основе стативной структуры, функционировавшей на более ранней ступени существования языка. В этом случае вывод Николе не будет противоречить гипотезе Гимбутас.

Пытаясь прояснить ситуацию, характеризовавшую поздний этап праяиндоевропейского языка, можно вспомнить настойчивость, с которой Семереньи обосновывал положение о том, что единственная гласная *a* в индоиранском, на фоне трех гласных (*e*, *a*, *o*) в греческом и других диалектах, является результатом семитского влияния. Необходимость «примирить» друг с другом две гипотезы относительно указанных инноваций — возникновения категории грамматического рода и сокращения числа гласных в индоиранских языках — требует комплексного представления древней индоевропейской прародины (или нескольких прародин).

Эта проблема еще более осложняется, если учесть, что индоевропейский синтаксис характеризовался порядком *ov*, тогда как семитский — порядком *vso*. С другой стороны, северо-западный прасемитский содержит признаки активного строя. Именная флексия здесь развита минимально; глагольная флексия состоит из активного маркера (имперфектив) и стативного показателя (перфектив). Последний, как полагают, возник на базе именных форм и является поздним. Помимо этого, наличие отсутствия генитива и глагола в значении «иметь». Более того, категория грамматического рода в северо-западном семитском представлена лишь в зачаточной форме; как хорошо известно, «мужские» существительные могут иметь «женские» суффиксы множественного числа и наоборот. Если категория грамматического рода действительно была усвоена индоевропейским в качестве ареальной черты ближневосточного региона, то источником заимствования вряд ли мог являться северо-западный семитский ареал. Гипотеза же Семереньи относительно вокалической системы индоиранского покоится на тезисе о частичном и относительно позднем соседстве индоиранского с семитским.

В качестве предварительного решения можно предположить, что система трех родов в индоевропейском возникла в нем тогда, когда его носители обосновались вблизи ближневосточного региона. Относительно прародины в ранний период истории индоевропейского языка следует

вновь обратиться к Николс, которая утверждает, что если бы прайндевропейская располагалась в восточных степях, то в таком случае этот язык определенно характеризовался бы маркировкой главного члена [67, с. 100]. Короче говоря, грамматические данные указывают на то, что на позднем этапе своей истории прайндевропейский был локализован в регионе, расположенном вблизи Ближнего Востока, тогда как на более ранней стадии своего развития, когда этот язык имел активную структуру и характеризовался маркировкой главного члена, его носители жили в степях.

7. Семантическая система.

Как уже отмечено выше, семантическая система прайндевропейского языка подвергалась обстоятельному анализу во втором томе труда Гамкрелидзе и Иванова, предшественниками которых были такие ученые, как Бак [44] или Покорный [49]. Хотя отдельные моменты их анализа дискуссионны, в целом исследование Гамкрелидзе и Иванова является шагом вперед по сравнению с прежними разработками, поскольку в книге рассматриваются специфические черты индоевропейского языка, относящиеся к периоду, когда он был языком активного строя. Приводимые лексические данные чрезвычайно убедительны. Речь идет, в частности, не только о двойственном обозначении предметов типа «огонь» и «вода», но и о классификации существительных и глаголов посредством критериев стативных языков, а не по формальным признакам, характеризующим более позднее состояние этого языка.

Проясняет проблемы, долгое время казавшиеся непонятными, и реконструкция способов выражения значения в синтаксической системе. Среди них можно назвать типы глагольной флексии, которые легли в основу грамматических показателей сходных прайндевропейских перфекта и среднего залога и в то же время обусловили их различные функции и место в глагольной системе на преддиалектной стадии. Изучение флексивной системы существительного, возникшей после формирования в языке аккузативной структуры, и в частности анализ гетероклитического склонения, может способствовать прояснению того процесса, который обусловил сдвиги между двумя типами структур — активными и аккузативными, и, таким образом, предоставить в наше распоряжение данные относительно ранней истории индоевропейцев.

Несколько десятилетий назад я предположил наличие в прайндевропейском такой ранней именной системы, которая включала три суффикса в дополнение к нулевому маркеру (*s m h*). Эти суффиксы обладали собственными значениями, основными из которых были следующие: *s*-форма (индивидуализирующая характеристика); *m*-форма (результативность либо стативность); *h*-форма (коллективность). Нулевая же форма имела экстрасинтаксическое значение и использовалась в адвербиальном смысле или в формах обращения [69, с. 192]. В той же работе я описал использование этих суффиксов в возникшей впоследствии, после того, как язык развился в сторону аккузативного строя, системе именной флексии. Помимо указанных маркеров, имелись и суффиксальные частицы; одной из наиболее тщательно изученных является прайн.-е. **b^{hi}*, которая сохранилась в греч. (гом.) *-phi* и легла в основу окончаний мн. числа и дуалиса, особенно в индийской ветви. Эта гипотеза, предложенная на основе внутренней реконструкции, в настоящее время подтверждается в свете рассмотрения раннего строя прайндевропейского языка в качестве стативного.

Эта гипотеза подтверждает и высказанное в 1958 г. мнение об исполь-

зовании *s*-форм в качестве генитивного маркера. Хеттские генитивные формы на *-s* могут использоваться для выражения индивидуализации; это явление типично и для характеристик первоначальной функции *-s* в ведийском. Применение данного суффикса в качестве генитивного показателя является, таким образом, относительно поздним явлением, что отмечают и Гамкрелидзе и Иванов. Как отметил Г. А. Климов, аккузативные языки в отличие от активных обладают генитивом. Активные формы на *-s*, первоначально служившие для выражения отдельных предметов, стали впоследствии использоваться для маркировки топика как субъектного, так и предикативного номинатива, а также в функции генитива как выделителя. Помимо *-s*, в функции генитива использовались и другие суффиксы (например, для образования генитивов гетероклитик).

Гетероклитики, особенно основы на *r/n*, являются одними из наиболее обстоятельно изученных элементов индоевропейской грамматики, как это отмечал уже Хирт. Нет никаких споров по поводу номинатива / аккузатива на *-r*, который в качестве основной формы является единственным членом парадигмы, засвидетельствованной в гом. греч. *hêtor* «сердце». Можно рассматривать *-(e)r* в качестве суффикса, маркирующего инактивные существительные на этапе стативного строя. (Здесь полезно вспомнить утверждение Бругмана, согласно которому суф. *-ter* не имел ничего общего с терминами родства, несмотря даже на то, что он добавлялся к корням **rā* и **mā* для создания терминов, обозначающих отца и мать [2, с. 332—336, 588, 602].) Необходимо объяснить тем не менее и другие формы гетероклитической парадигмы. Этому объяснению уделяет большую часть своей книги, посвященной происхождению индоевропейской флексии, Бенвенист, который приводит внушительный список засвидетельствованных лексических единиц. Он заключает, что на ранних этапах индоевропейского некоторые формы не конституировали парадигму. Напротив, гетероклитическая парадигма в том виде, как она нам известна, а также основы на *i/n* (и реже на *l/n*) представляют собой попытку интегрировать в новую именную флексию прежние дериваты корня; таким образом, парадигма, представленная в диалектах, состоит из совокупности форм, полученных из целого ряда различных систем [46, с. 187]. К. Х. Шмидт сравнивает с этим сходное образование флексии в восточнокавказском [24, с. 99]. Хотя ни одно исследование, как признает Бенвенист, пока еще не привело к приемлемому объяснению, становится все же очевидным, что на ранних этапах существительное в лучшем случае обладало минимальной флексией, а это обстоятельство позволяет в свою очередь высказать предположение об активной стадии раннего преевропейского. Остается лишь выяснить, какие маркеры использовались для формирования косвенных падежей.

Из анализа существительных, сохраняющих *-r*, становится ясно, что этот суффикс указывал на неодушевленность. Помимо примеров типа лат. *iter* «путь», где явно имеются в виду неодушевленные реалии, можно указать и на другие лексемы, типа лат. *iesur* «печень», греч. *hêtor* «сердце», т. е. термины, обозначающие внутренние органы тела; эти термины, в отличие от слов, обозначающих внешние части тела, на стативной стадии рассматривались как неодушевленные.

Другим характерным окончанием, обладающим специфическим значением, является хорошо документированный суф. *-n*; именные элементы, оканчивающиеся на этот формант, обозначали отдельные личности или предметы. Среди примеров можно указать на *n*-прилагательные в германском, использовавшиеся для описания отдельных предметов, и на ком-

паративы на *-n* в греческом и литовском, а также в германском, где этот суффикс явно указывал на конкретный объект. Я полагаю, что формы на *-n* использовались для обозначения генитива и других косвенных падежей, поскольку гетероклитическая парадигма строилась именно на этом значении. Форма на *-r* указывала на объект как таковой; в косвенных падежах содержится указание на отдельные его разновидности, в соответствии с чем корень был дополнен показателем *-n*. С течением времени подобные существительные обрели полную парадигму, как, например, лат. *iter*, *itin(er)is*. Формы этой парадигмы часто были подвержены выравниванию, как это произошло с *iter*. Случалось и так, что одна основа в диалекте воспринималась как базовая, а непараллельные ей формы элиминировались (ср. англ. *water*, норв. *vatn*).

И все же указания на исходную независимость этих основ ясно просматриваются в данных диалектов. Как отмечено, греч. *hētor* «сердце» является формой, засвидетельствованной лишь у Гомера. А, скажем, в германском *n*-форма образовала свою собственную парадигму, как, например, в гот. *sunno* «солнце»; древние именные *l*-формы в гот. *sauil*, а также *sugil* встречаются нечасто, хотя они и использовались в языке; *sugil* употреблялось только для обозначения рунического символа *S*. Эти и многие другие примеры, которые можно было бы здесь назвать, иллюстрируют как формирование гетероклитической парадигмы, так и ее развитие в диалектах в период, когда существительные приобретали единую основу во всех формах, на что указывает распространение *-er-* на косвенные формы (ср. лат. *iter*, *itineris*).

История этой парадигмы, как и входящих в нее существительных, позволяет судить о ранних этапах развития языка, что было отмечено уже давно. Формы существительных, оканчивающихся на *-r-*, относились к неодушевленным объектам. Формы же существительных, оканчивающихся на *-n*, были вполне от них независимы и обозначали отдельные объекты, как одушевленные, так и неодушевленные. Та стадия пра- или предындоевропейского, в рамках которой происходили указанные явления, характеризовалась маркировкой главного члена. В своей работе, находящейся в печати, я обсуждаю грамматические черты этой стадии, опираясь, в частности, на публикации Майда и Ноя. Исследуя соответствующую структуру, Майд постулирует ее для первых трех стадий индо-европейского. Последние продемонстрировали активный характер раннеиндоевропейского. Для сдвига к аккузативной структуре потребовался период в несколько тысячелетий. И опять-таки, данные согласуются с гипотезой Гимбутас.

С другой стороны, указанные свидетельства противоречат мнению Гамкрелидзе и Иванова, а также Ренфрю относительно локализации прародины. Разумеется, хурритский тоже является стативным языком. Но контакты между ним и индоевропейскими языками (в основном с хеттским) относились к более позднему времени. Семантические, как и синтаксические данные указывают на развитие от стативного языка к аккузативному, что мы и находим в ранних диалектах. Если пытаться найти место, где могло произойти подобное развитие, то современные факты свидетельствуют в пользу мнения Гимбутас, впоследствии развитого Дьяконовым и Мэллори.

8. Возможность хронологизации путем сравнения лингвистических данных с реалиями социального и технического порядка.

Определяя последовательные этапы развития предындоевропейского языка, мы используем как лингвистические данные, так и свидетельства

социального и/или технического порядка. Существенными свидетельствами подобного рода являются система счета и письменность. Мы уже говорили о том, что наличие в праиндоевропейском обществе какой-либо системы письменности можно было бы ожидать в том случае, если бы индоевропейцы жили по соседству с народами Месопотамии. Существенным является и то, что именно в этом регионе, включая и западную Анатолию, была создана предшествовавшая письму символическая система знаков [70]. Использование системы таких знаков вначале происходило параллельно с развитием земледельческой экономики, а затем и городских центров; по мере того, как эти центры развивались и усложнились, указанная система была преобразована в логографическо-силлабическую систему письма, создание которого приписывается шумерам. Отсутствие данных, свидетельствующих об использовании какой-либо системы знаков в местах предполагаемого расселения индоевропейцев в V и IV тыс. до н. э. — на Балканах или в Понтийском регионе, заставляет полагать, что в тот период для них не были типичны ни развитые земледельческие сообщества, ни централизованные городские центры.

Шмандт-Бассерат соотносит интенсивное развитие аграрного общества с распространением системы счета. Если на ранних этапах истории для обозначения различных предметов хозяйства и быта (вроде кувшина с вином, видов пищи), а также собственности (овца) использовались отдельные объекты определенной формы, вполне возможно, что в то время абстрактные числа отсутствовали. При учете позднего появления числительных (вероятно, в результате заимствования из одного или нескольких развитых сообществ) встает вопрос об их этимологии. Г. А. Климов исследовал некоторые из относящихся сюда проблем, а именно вопрос о предполагаемом сходстве общекартвельских слов для обозначения «шести» и «семи» с соответствующими числительными в праиндоевропейском и прасемитском [71]. Представляет интерес и связь, которую он устанавливает между пракартвельским *oṭro-* «четыре» и праин.-е. *oktōw-* «восемь» с суффиксом дуалиса. Климов склоняется к мнению об индоевропейском источнике данных форм, хотя и утверждает, что слова с начальным гласным характерны для урартского языка. У нас, к сожалению, имеется слишком мало информации об этом языке, в том числе и о числительных; в хурритском же нам известны лишь некоторые обозначения числительных.

Если принять во внимание, что праиндоевропейское слово со значением «пять», *penk^we*, первоначально обозначало совокупность [72] и что вообще числительные, за исключением обозначений первых трех чисел, не вписываются в индоевропейскую структуру корня, можно полагать вместе с Климовым, что нам станет кое-что известно о хурро-урартских числительных. Имеется весьма малая вероятность объяснения этих слов на индоевропейской почве: модель числительного «четыре», пред.-е. *k^wet^wer-*, соответствует скорее структуре кавказского корня (CVCV), чем индоевропейского. Более того, как указывал, в частности, Бругман, примечательно, что в праязыке числительные выше четырех не склонялись [2, с. 1—62]. Если числительные были усвоены из хурритского или какого-либо иного ближневосточного языка, то их источник вполне мог соответствовать источнику заимствования и некоторых технологических новинки, включая использование бронзы.

Библиография публикаций, посвященных формам числительных в ранних диалектах, а также попыткам их объяснения, насчитывает целые тома, начиная с работы Боппа (это отмечено Бругманом в его пространном списке источников [2, с. 1—3]). Не повторяя эти данные, попытаемся опи-

сать общие тенденции в области изучения числительных, в том числе и современные гипотезы. При этом мы будем опираться на неопубликованный пока обзор Шмандт — Бассерат, посвященный развитию системы счета. Если принять вполне вероятное мнение, что на ранних этапах человеческой истории абстрактные числительные отсутствовали, а вместо них скорее всего использовались лексические единицы, обозначающие важнейшие виды продуктов производства, то становится понятным наличие в праиндоевропейском нескольких сочетаний корней с суффиксами, которые служили для обозначения числительного «один». Первоначально для этого использовался корень **^hey-*, который являлся указательным местоимением. Этот корень вполне мог получить значение числительного благодаря употреблению во фразе, содержащей указание на определенный объект (например, *эта шкура, этот сосуд* и т. д.). Такая гипотеза находит некоторую поддержку в сохранившихся формах с варьирующими суф. *-no-*, *-wo-*, *-ko-*, а также в наличии другого корня для обозначения единицы — **sem-*.

Первичное слово для «двух», с корнем **dew* и суф. *-ey-*, могло восходить к частице, означавшей «дальше», типа хет. *išwa* «дальний». Корень в значении «три», **ter-*, мог быть образован на основе корня в значении «еще дальше», ср. скр. *tirāh* «овне». Впоследствии эти формы могли морфологически адаптироваться для вхождения в именную систему, хотя их нерасширенные варианты могли сохраниться в сложениях. Особый интерес представляют так называемые собирательные существительные с суф. *-o-*, *-no-*, *-ko-* [2, с. 76—82]. Скр. *dvayam*, например, использовалось в значении «два быка, пара быков», как и лат. *binī* (помимо других его значений). Скр. *trayam* служило для обозначения триады, ср. *bhuvana-trayam* «мировая триада — небо, атмосфера, земля». Греч. *thrinaks* < **trish-ak-* означало «трезубец». Такие расширенные формы со специфической семантикой могут быть реликтами того периода, когда числительные обозначались объектами определенной формы (tokens) [73].

Как отмечено выше, источник обычной индоевропейской формы числительного «четыре» неизвестен. Но тем не менее предположительно указывает хеттское числительное *ti-ia-u-e-es* «четыре» (основа — *tey-w-*) с и.-е. корнем **tey-* «уменьшаться», в смысле «меньшая рука», т. е. «только четыре пальца», либо «уменьшенная пятерка» [74, с. 176—177]. В качестве подтверждения индоевропейского происхождения этого слова он усматривает здесь аблаутное чередование. Таким образом, исконное обозначение числительного «четыре» могло сохраниться лишь в анатолийском.

Тот факт, что использование флексии ограничено только указанными четырьмя числительными, свидетельствует, по-видимому, об их раннем образовании внутри прайндооевропейского. А инкорпорация двух корней в суффиксальные формы числительного «один» (**sem* и **^hey-*) указывает на то, что этот процесс происходил на довольно поздней стадии развития именной флексии.

Более того, использование несимметричных корней для обозначения порядковых числительных низкого уровня подкрепляет мнение о минимальном развитии системы числительных на раннем этапе праязыка. Корень **per-* в сочетании с различными суффиксами обозначал «второй»; в значении «второй», помимо **dwi-*, использовались также корни **al-*, **an-* и др.; имеется несколько форм и для числительных «третий» и «четвертый». Регулярный способ образования порядковых числительных более высокого уровня также указывает на их позднее образование: они, по-видимому, дополнили более раннюю минимальную систему числительных;

детали, касающиеся их образования [68, с. 76—114]. Кроме того, наблюдающаяся вариация, особенно в отношении более ранних порядковых числительных (ср., например, лат. *secundus* «следующий»), свидетельствует о том, что и их система не являлась вполне устоявшейся на этапе ранних диалектов.

На основе нашего обзора можно предположить хронологию развития системы числительных и именной флексии: речь идет о переходе от использования объектов определенной формы (tokens) к использованию символов. Фриберг открыл шумерские тексты, относящиеся примерно к 3100—2900 г.; эти тексты содержат систему счета, которая соотносилась с определенными объектами (tokens). Такая система счисления была упразднена в связи с отказом от использования объектов различной формы (tokens), обозначавших числительные. Впоследствии распространение получали абстрактные числительные в том виде, в каком мы их знаем.

Описанная выше ситуация может соответствовать уровню экономического развития в конце IV тыс., т. е. периоду позднего праиндоевропейского. И если мы примем вывод Эттингера, согласно которому анатолийские диалекты отражают состояние индоевропейского праязыка несколькими столетиями ранее периода совместного существования остальных индоевропейских диалектов [75, с. 189—192], то открывается возможность объяснить расхождения между анатолийским и другими диалектами, в частности, и в отношении числительного «четыре». Название четверки в этих диалектах могло быть заимствовано из какого-то источника после отделения носителей анатолийского языка, возможно, в начале III тыс.

Таким образом, определенную часть лингвистической информации об индоевропейском можно соотнести с некой социальной ситуацией, поддающейся датировке. Согласно современным данным, шумерское логографическое письмо, в ходе истории которого счисление посредством объектов определенной формы вышло из употребления, было изобретено около 3100 г. до н. э. Эта дата вполне соответствует периоду позднего праиндоевропейского, когда перед разделением его на диалекты происходило развитие системы счета. Тематическое образование порядковых числительных выше четырех напоминает аналогичное образование терминов, относящихся к колесному транспорту, который был изобретен, вероятно, в течение этого периода. Данные социального характера, подтверждающие выход из употребления значимых объектов определенной формы, могут в таком случае способствовать датировке поздней стадии праязыка.

Что касается технологических данных, то здесь необходимо рассмотреть вопрос о начале использования бронзы. Общеизвестно, что единственное слово со значением «металл», которое можно реконструировать на праиндоевропейском уровне, **ayos*, относилось к бронзе и возникло, по видимому, на поздней стадии праязыка. До настоящего времени одной из главных проблем оставалось обнаружение местонахождения запасов руды, особенно оловянной, с которой сплавлялась медь. Наиболее вероятным источником руды, как сейчас полагают, являлся Кестель в южной Турции [76]. Анализ с помощью радиоактивного угля дает возможность датировать этот период — от 2874 до 2133 г. до н. э. Как отмечают авторы, эти даты подтверждают использование рудников в течение бронзового века и в период распространения индоевропейцев.

В заключение своей статьи авторы делают вывод, что эти «открытия в конечном счете могут разрешить загадку происхождения древнего олова и, таким образом, перенести исследование из плоскости поисков месторождений оловянной руды в область изучения масштабов и природы тех ин-

ституты, которые регулировали производство металлов и торговлю ими в металлодобывающих областях Анатолии» [76, с. 304]. Поэтому возникает чрезвычайно интересная проблема связи распространения индоевропейцев с технологическими новшествами в области вооружения и средств передвижения, которые были обусловлены легким доступом к олову, необходимому для производства бронзы. Можно ожидать дальнейших исследований в области древней металлургии и торговли, связанных с оловом, добывавшемся в Кестеле. В настоящее время мы, однако, удовлетворены и тем, что эпоха позднего праиндоевропейского языка, рассматривавшаяся до сих пор с точки зрения языковых и социальных данных, стала освещаться и с третьей стороны, со стороны технологии.

Остающиеся вопросы касаются причин, вызвавших миграцию носителей индоевропейского языка, а также тех условий, которые способствовали их сохранению и развитию. Ответы на эти вопросы, до получения новых археологических подтверждений, останутся пока на уровне предположений; подобным же образом до недавнего времени оставались спорными проблемы развития системы счета и источников технологических достижений. И все же по мере получения дополнительной информации попытки ответить на эти вопросы могут выявить новые возможности исследования.

9. Социальные, интеллектуальные и географические условия, способствовавшие распространению индоевропейцев.

Данный очерк был задуман в качестве рецензии на книгу Гамкрелидзе и Иванова, эту рецензию я начал писать после нескольких бесед с авторами, в частности, с Гамкрелидзе. Тем временем появились обстоятельные рецензии Палмайтиса [57], Хэйворда [77] и Греппина [78]. Кроме того, были проведены конференции и опубликованы статьи, посвященные тем или иным аспектам их теории; серия очерков, изданных Веннеманом [51], является фактически рецензией на фонологическую часть их книги. Еще более примечательно то, что еще до выхода книги в свет на нее были опубликованы рецензии, принадлежащие перу Дьяконова [24] и Семереньи [56], двух в высшей степени эрудированных специалистов во многих областях лингвистики. Наконец, большой круг вопросов был обсужден в процессе полемики между Дьяконовым и авторами, которая была издана Полом [79], с дополнительными комментариями М. Гимбутас. Значение работы Гамкрелидзе и Иванова безусловно повысится с появлением ее перевода, осуществленного Дж. Николс. Этот перевод сам по себе представляет вид комментария благодаря искусному изложению идей авторов этой книги. Все это избавляет от необходимости излагать содержание работы. Представляется более актуальным наметить здесь дальнейшие направления исследований в области индоевропистики.

Как показано в недавно вышедших книгах Ренфрю и Мэллори, появившихся вслед за упоминавшимися выше конференциями и публикацией рецензий, распространение индоевропейских языков из неизвестного нам района по всей Европе и во многие части Азии, а впоследствии и в большинство регионов Земли, нельзя объяснить лишь на основе изучения самих этих языков, которые относятся в сущности к внешним характеристикам народов. Если учесть, что человеческая история не разворачивается благодаря случайным силам или обстоятельствам, необходимо искать другие, социальные, интеллектуальные и духовные импульсы. Хотя попытки подобного подхода не были встречены благожелательно (частично из-за того, что они, как казалось, отражают шовинистическую точку зрения, частично из-за недостаточного понимания их значимости), такая

постановка вопроса открывает чрезвычайно интересные перспективы в области исследования праиндоевропейского языка, его ранних диалектов и их носителей.

Выше, в четвертом параграфе данной работы, объяснение распространения индоевропейцев рассматривалось через призму другой внешней их характеристики — способов передвижения, которые использовались либо в ходе миграции, сопровождавшейся покорением новых земель, либо в процессе постепенной инфильтрации. Однако сами по себе подобные объяснения лишь переносят вопрос в другую плоскость, не затрагивая причин, вызвавших передвижения народов и захват ими новых территорий. Мы располагаем достаточным количеством примеров расселения народов, как, например, маньчжуров в Китае, которые завоевывали новые земли, но не смогли ни навязать своего языка коренным жителям, ни надолго установить свое господство.

Если в какой-то мере позволить себе смелость, присущую одному из крупнейших индоевропеистов, который, высказывая свое мнение, в свою очередь ссылался на одного из крупнейших специалистов в области общего языкознания, Н. С. Трубецкого, то можно вспомнить рассуждения Мейе относительно менталитета индоевропейского общества, который он соотносит со структурой языка [80]. Для Мейе существенной чертой такого менталитета индоевропейцев являлось стремление к независимости и индивидуальной свободе.

Обращаясь к социальной структуре индоевропейского общества, Мейе отмечал следующую его характерную черту: разделение на небольшие автономные группы, не имеющие признаков государственности. Стремление к независимости отчетливо проявляется в заботе любого эллинского или скандинавского вождя о поддержании и сохранении местной власти. События, подобные заселению Исландии после попытки централизации власти в Норвегии, а также литературные памятники типа «Илиады» подтверждают вывод, сделанный Мейе.

Эту черту социальной жизни Мейе соотносит со структурой языка, главную характеристику которого он усматривал в аранжировке слов, которые благодаря своей флексии являются самодостаточными и сами определяют свою роль в предложении. Для него такая конструкция является аппозитивной; всякие «связанные» группы отсутствовали. Греческий, например, сохранял автономность индоевропейского глагола, каждая форма которого выражала специфический оттенок смысла. Формы же подразделялись на категории, обладавшие точными значениями. Сравнивая указанные обобщения с другой социальной сферой, Мейе отмечал, что и греческое искусство также отображает структуры в четких, ясных и понятных формах.

Хотя мы избегаем проводить столь прямые параллели между общественными структурами и языком, можно согласиться с Мейе в том, что стремление к автономности действительно характеризовало членов индоевропейского общества и, вероятно, способствовало его развитию. Недавняя работа Майда, посвященная исследованию концептуального мира индоевропейцев, также свидетельствует о ясных конкретных основаниях, на которых строились их понятия и представления [81].

Несомненный индивидуализм отражен, в частности, в отношении индоевропейцев к своим божествам. Поскольку характер таких отношений хорошо известен по греческому эпосу, я приведу не менее убедительный пример из Ригведы. Гимны Ригведы, обращенные к отдельным богам, весьма своеобразны, что заметно из первых же слов: *Agnim (i)le* «Тот, к ко-

му я взываю, Агни». Проситель, не колеблясь, высказывает свои нужды, не избегая и требовательных интонаций: «Если бы я был на твоём месте, моя просьба была бы удовлетворена».

Индоевропейское общество, в котором был, по-видимому, весьма силен дух индивидуализма, в то же время было восприимчиво к внешним влияниям. В той сфере, которая обычно характеризуется чрезвычайным консерватизмом — в религии, — сохранилось весьма мало того, что можно было бы положить в основу реконструкции. Хеттская религия почти полностью усвоена от хурритов. Религия греков изобилует богинями, в отличие от религии индоиранцев, где доминируют мужские божества. И ни первая, ни вторая религии не сравнимы с религией других этнических групп — кельтской, германской, балтийской или какой-либо иной. Более того, с появлением новых фундаментальных религиозных систем (христианства на Западе и буддизма на Востоке) они усваивались народами, даже если этих вероисповеданий и не придерживались в наиболее густонаселенном индоевропейском ареале — на Востоке.

При переходе от духовной сферы к области технологической можно легко понять, как индоевропейское сообщество усваивало новшества, которые давали возможность успешно развивать военное дело: речь идет о приручении лошади, получении лучших сортов металла и создании наиболее эффективных средств передвижения. Специалисты в области изучения других обществ, например, семитоязычных, возражают, когда ссылаются на отсутствие в этих обществах подобной приспособляемости, в результате чего тормозился их технический прогресс; однако в качестве подтверждения того значения, которое имеет способность к адаптации, можно указать на японское общество, долгое время дремавшее в тисках системы, исключавшей любые инновации, но затем неожиданно добившееся столь значительного прогресса. В этом можно найти некоторую поддержку наблюдению Мейе о связи между языком и обществом, а также подтверждение возможности быстрого преобразования, которое осуществил малоизвестный степной народ, ставший чрезвычайно мощной общественной формацией даже на фоне самых развитых обществ. Как бы много заимствований мы ни находили в греческом словаре, все это не сравнимо с ситуацией в японском, где исконные слова *chichi* и *haha* заменяются на усвоенные *rara* и *tata*. Можно привести и другие свидетельства в пользу того, что для прогресса общества необходимым условием является открытость к новшествам.

Гибкое открытое общество, предоставляющее возможности личности, может иметь или не иметь прямого отображения в языке. И тем не менее такая социальная организация, наделенная способностью к созданию тесно сплоченных единиц, или групп, особенно в период опасности (это иллюстрируется «Илиадой»), представляется привлекательной для человека в связи с открываемыми возможностями общественного развития, а также досуга, свободы и спокойной, мирной жизни независимо от того, где это происходит — в хижине свинопаса Эвмея, в едва ли роскошном дворце его хозяина Одиссея, или же, наконец, в постоянно укрупняющихся социальных структурах более поздних времен. Подобные возможности обладают мощной притягательной силой и в наши дни, и, надо думать, они имели не меньшее значение в начальный период индоевропейской экспансии.

Помимо попыток определить технологические и социальные причины, обусловившие успешное распространение индоевропейцев, необходимо возобновить изучение их общественных институтов, что подчеркнул Шле-

рат в своем предисловии к переизданию в 1978 г. работы Лайста [82]. Хотя осуществленный Лайстом синтез индоевропейского права основывается главным образом на изучении индийских, греческих и итальянских источников, нет ничего невероятного в том, что указанные сообщества сохраняли правовые каноны более древних эпох. Первая заповедь, реконструированная Лайстом («Тебе надлежит чтить богов»), сохранялась, несомненно, и в более поздние времена; ибо когда около 1000 г. н. э. в Исландии было введено христианство, один проповедник новой религии осторожно сформулировал свое отрицательное отношение к одной из языческих богинь в следующих словах: «Я не хочу хулить богов, но я считаю, что Фрея — сука». Мы, как и Шлерат, не полагаем более, что европейцы процветали в качестве «не имеющих законов варваров» [82]. Возобновление интереса к их юридическим и иным общественным структурам и институтам — следует приветствовать.

Среди последних важным являлось совершенствование поэтов. Сложность ранних поэтических форм, а также содержание поэтических произведений вряд ли могли быть результатом творчества необученных крестьян, которых внезапно посетило вдохновение, достаточное для сочинения добротной поэзии. Поэты, конечно, могли не иметь столь тщательной подготовки, как, например, брамины в Индии, или люди, выполнявшие те же функции в Галлии; и все же если учесть, что народные поэты не хуже владели языком, чем те, кто специально обучался поэтическому искусству (например, в Индии или в Галлии или, на более позднем этапе, — в германском ареале), становится ясным, что древнее общество должно было иметь достаточно подготовленную к восприятию поэзии аудиторию и оказывало поддержку творческим личностям.

Хотя дальнейшее углубление наших знаний в таких областях представляет, несомненно, чрезвычайный интерес, сами по себе эти данные не могут дать объяснения причин энергичной экспансии индоевропейцев. Ясно, что она не была вызвана каким-либо новым религиозным движением, подобным тому, что привело к победе арабского языка на обширных территориях в VII и VIII вв. Нет у нас оснований подозревать какие-то политические идеалы, подобно представлению о «неотвратимой судьбе», лежавшему в основе американской экспансии в XIX в. Нет у нас сведений о какой-либо выдающейся личности, которую можно было бы сравнить с Юлием Цезарем, Карлом Великим или Чингисханом. Однако доступные нам традиции продолжают хранить указания на постоянную готовность этих народов к передвижениям — от древнейших сохранившихся текстов, повествующих о военных успехах хеттского царя Анитты, до эпических сказаний индийцев и греков и исторических преданий греческих, итальянских и германских племен. Гимны, прославляющие мир на Земле, следует искать где угодно, но только не в древних индоевропейских текстах.

Работа Гамкрелидзе и Иванова, создавшая твердую основу для дальнейших исследований условий распространения индоевропейцев, заслуживает высокой оценки. Как отмечено выше, нельзя согласиться со всеми их выводами, особенно относительно прародины индоевропейцев. Тем не менее приводимые ими свидетельства способствуют успешному изучению других возможных ареалов прародины (ср. ареал, постулируемый в настоящем обзоре вслед за Гимбутас, Мэллори и другими). Мы располагаем данными о том, что индоевропейцы не находились в регионах, население которых в своем языке использовало значимые объекты определенной формы (tokens); с другой стороны, области, лежащие к северу от Чер-

ного и Каспийского морей, представляются более вероятными в качестве локализации прародины, поскольку в таком случае легче объяснить последовательные этапы развития праязыка или, если пользоваться терминологией Дьяконова, последовательных диалектных континуумов. Все это требует дальнейшего уточнения, и здесь мы более всего ожидаем новых археологических данных, способных пролить свет на многие интересующие нас вопросы.

Работы Шмандт-Бессерат о происхождении письма появились менее двадцати лет назад. С тех пор мы довольно далеко продвинулись в области изучения процесса становления системы числительных, а также последовательных этапов развития ранних систем письменности. Необходимо, однако, обстоятельно изучить экономические, политические и интеллектуальные последствия этих новшеств, включая и их географическое распространение. Новые тексты расширили наши представления о раннеанатолийском и соседних с ним языках, что стало возможным в значительной степени благодаря глубокому анализу Ноя и Оттена. В начале этого столетия большинство индоевропейцев вряд ли могли сказать что-либо определенное относительно начала I тыс. до н. э. Новая лингвистическая и археологическая информация во многом прояснила ситуацию, хотя здесь не обошлось без сомнений и ошибочных оценок, что вполне объяснимо ввиду огромного объема новых данных. Хотя последние и вселяют большую надежду на продвижение вперед, их сложность, а также необходимость быть в курсе достижений предшествующего этапа усиливают потребность в точности интерпретации и даже подачи материала. Археологи, без сомнения, хотели бы, чтобы их выводы совпадали с выводами лингвистов по тем или иным вопросам; точно так же и лингвисты ожидают подтверждения своих выводов данными археологии, к примеру, в вопросе о времени приручения лошади. Такой авторитетный специалист, как Бекени, в [83, с. 136] указывает, что это произошло в «середине IV тыс. до н.э.», тогда как сама Гимбутас называет дату на тысячелетие ранее этого [84, с. 188]. Приветствуя важную работу Гамкрелидзе и Иванова, мы можем надеяться, что она позволит ученым достигнуть новых успехов в понимании одного из наиболее значительных событий в истории человечества.

Географические, интеллектуальные и технологические условия, способствовавшие распространению индоевропейцев, по-видимому, сочетались с некими трудноуловимыми чертами или условиями, которые обеспечили преимущество индоевропейцев в столь короткий период. Все эти черты, равно как и гибкая социальная организация, создававшая возможности для развития личности, таили в себе притягательную силу, заставлявшую другие народы принимать их языки и входить в их общества, а это в конечном счете привело к созданию крупных сообществ, поделившихся в I тыс. до н. э. и существующих так вплоть до наших дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

45. *Persson P.* Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala, 1912.
46. *Benveniste E.* Origine de la formation des noms en indo-européen. P., 1935.
47. *Lehmann R.* Color usage in Irish // Language, literature and culture of the Middle Ages and later // In Honor of Rudolph Willard / Ed. Atwood. E. B. and Hill A. A. Austin, 1969.
48. *Berlin B., Kay P.* Basic color terms. Their universality and evolution. Berkeley: Los Angeles, 1969.
49. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
50. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970 (3-te Aufl. — 1989).
51. *The new sound of Indo-European. Essays in phonological reconstruction / Ed. by Vennemann T. B., 1989.*

52. Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
53. Lehmann W. P. Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
54. Krauss M. Typology and change in Alaskan languages // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam, 1990.
55. Mayrhofer M. Indogermanische Grammatik. I. 2: Lautlehre. Heidelberg, 1986.
56. Szemerényi O. Recent developments in Indo-European linguistics // TPhS. 1985.
57. Palamitis M. L. // IF. 1985. Bd 90. Rec: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индо-европейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
58. Seebold E. Das System der indogermanischen Halbvokale. Heidelberg, 1972.
59. Meid W. Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung / Ed. von Rix Helmut. Wiesbaden, 1975.
60. Lehmann W. P. Earlier Stages of Proto-Indo-European // Indogermanica Europaea, Festschrift für Wolfgang Meid. Ed. Heller K. et al. Graz, 1989.
61. Neu E. Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems // Studies in Greek, Italic and Indo-European linguistics, offered to Leonard R. Palmer / Ed. by Davies A. M. and Meid W. Innsbruck, 1976.
62. Kortland F. The laryngeal theory and Slavic accentuation // Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
63. Polomé E. C. Are there traces of laryngeals in Germanic // Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
64. Beekes R. S. P. Laryngeal developments: A survey // Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems. / Hrsg. von Bammesberger A., Heidelberg, 1988.
65. Greenberg J. H. Relative pronouns and the P. I. E. word order type in the context of the Eurasiatic hypothesis // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam, 1990.
66. Lehmann W. P. Proto-Indo-European syntax. Austin, 1974.
67. Nichols J. Some preconditions and typical traits of the stative — active language type (with reference to Proto-Indo-European) // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam, 1990.
68. Schmidt J. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.
69. Lehmann W. On earlier stages of the Indo-European nominal inflection // Language. 1958. V. 34.
70. Schmandt-Besserat D. The emergence of recording // American anthropologist. 1982. V. 84.
71. Klimov G. A. Zu den ältesten indogermanisch-semitisch-kartwelischen Kontakten im Vorderen Asien // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für Johann Knobloch. Innsbruck, 1985.
72. Polomé E. // RBPhH, 1966. V. 44. Rec. Szemerényi O. Studies in the Indo-European system of numerals.
73. Szemerényi O. Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.
74. Neu E. Zum Wortschatz des Hethitischen aus synchroner und diachroner Sicht // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
75. Oettinger N. Anatolische Wortbildung und indogermanische Chronologie // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
76. Jener K. A., Üzbal H., Kaptan E., Pehlivan A. N., Goodway M. Kestel: An early Bronze Age source of tin ore in the Taurus mountains, Turkey // Science. 1989. V. 244.
77. Hayward K. M. The Indo-European Language and the history of its speakers. The theories of Gamkrelidze and Ivanov // Lingua, 1989. V. 78.
78. Greppin J. A. C. // TLS. 1986. March. 14. Rec.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
79. Recent Russian papers on the Indo-European problem and the ethnogenesis and original homeland of the Slavs / Ed. by Polomé E. // JIES. 1985. V. 13.
80. Actes du premier congrès international de linguistes. Leiden, 1928. P. 164—165.
81. Meid W. Zur Vorstellungswelt der Indogermanen anhand des Wortschatzes // Studien zum Indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
82. Leist B. W. Alt-Arisches Jus Gentium / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1978.
83. Bökönyi S. Horse and sheep in East Europe in the Copper and Bronze ages // Proto-Indo-European: The archeology of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas / Ed. by Skomal S. N., Polomé E. C. Washington, 1987.
84. Gimbutas M. Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // JIES. 1985. № 13.

Перевел с английского Чирикба В. А.